



Глава первая **ПОД КРОВАТЬЮ**

Нас было трое. Рами, самый сильный парень в классе; Амнон, умевший двигать ушами и храбрый, как японский камикадзе; и я третий.

Нет. Не так.

Нас было семеро. Семеро героев. Семеро бесстрашных. Семеро дьявольски проникательных. И конечно, собака, как же иначе? Большой, сильный, умный пес, из тех, что в нужную минуту может выхватить из кобуры револьвер, а придется — так и соврать, не краснея. С нашим псом мы были непобедимы. С нашим псом мы были не...

Нет.

Не было нас троих, не было нас семерых, а о собаке и вообще говорить нечего. Я был один. Я был совершенно один. Возможно, будь со мной еще кто-нибудь, я бы чувствовал себя куда уверенней там, где сейчас находился. Потому что я находился сейчас под кроватью. Я лежал под кроватью в комнате дома пенсионеров в иерусалимском квартале Бейт а-Керем, со страхом ожидая появления самого страшного из всех страшных хулиганов медицинского факультета знаменитого Гейдельбергского университета, что в Германии. Возможно, все было бы иначе, будь здесь со мной еще кто-нибудь. Это ведь не так уж и много. Может же человек, в конце концов, хотеть, чтобы в трудную минуту рядом с ним был кто-нибудь, кто бы знал, как вести себя в опасных ситуациях, и притом имел бы опыт сыщика, и желательное также револьвер, и на всякий случай еще увеличительное стекло, чтобы потом выяснить, чьи это отпечатки пальцев на трупе...

Увы, я имел все основания опасаться, что этим трупом станет мое собственное тело, к которому я испытывал большую, теплую и объяснимую привязанность. Поэтому я сейчас же запретил себе размышлять о грустном и сосредоточил все свое внимание на узкой полоске света, которая пробивалась из-под двери.

Ибо я, если помните, лежал под кроватью. То есть на полу. И кроме нижней части двери мне были видны отсюда только разноцветный ковер, стоящий на нем серый чемодан, перехваченный двумя матерчатыми поясами, да тоненькие ноги господина Розенталя в его всегдашних спортивных туфлях.

Впрочем, извините, — я не представился. Вы правы. Но с другой стороны, нельзя же представляться из-под кровати. Во-первых, это невежливо. А во-вторых, там полным-полно пыли.

Ну, ладно. Под этой кроватью я лежал, когда мне было двенадцать лет. Сегодня мне уже двадцать восемь, но я все еще помню, как зачастило мое сердце, когда за дверью слышались медленно приближавшиеся шаги самого грозного хулигана медицинского факультета знаменитого Гейдельбергского университета. Как я уже говорил, я был совершенно один. Точнее, совершенно один под кроватью. Потому что надо мной, на кровати, сидел ее хозяин, господин Розенталь — Генрих Розенталь, семидесяти лет, маленький, с шапкой белоснежных волос на голове. Но под кроватью со мной не было никого. Я находился там в полном одиночестве. И помню, что в те минуты одинокого подкроватного ожидания я еще успел подумать, что мама, возможно, была очень права, когда говорила, как нехорошо, что у меня нет товарищей-соучеников и что я всегда или один, или со странными друзьями, вроде господина Розенталя. Впрочем, мои родители вообще не переставали за меня волноваться — почему это я не числюсь ни в каких молодежных организациях, и почему я не хожу ни на какие кружки, и почему я почти никогда не участвую в школьных затеях. Честно сказать, меня это тоже волновало, но только потому, что это волновало их, а сам по себе я не испытывал от такого своего поведения ни малейших неудобств. И ребята из класса тоже уже перестали ко мне приставать, приглашая к ним присоединиться. То ли им надоело, то ли стало не так уж важно, буду я с ними или нет.

В общем, меня самого мое поведение совсем не беспокоило, но вот по вечерам, когда отец заходил ко мне в комнату, садился на мою кровать, смотрел на меня и не говорил ни слова — вот тогда мне становилось действительно не по себе. Куда больше, чем во время шумных споров с мамой, когда она кричала, что я веду себя совсем как старик, а не как двенадцатилетний парень и что интересуют меня тоже одни старики.

Мама просто не знала моего господина Розенталя. Верно, в его паспорте было написано, что он родился в 1896 году. Но, несмотря на это, он был энергичен и бодр, как двадцатилетний, и всегда повторял, что настоящая жизнь только в семьдесят лет и начинается.

С господином Розенталем я познакомился в начале учебного года. Наша классная руководительница поделила тогда весь класс на группы «добровольцев» и предложила нам на выбор разные виды добровольческой деятельности. И среди тех видов, которые она нам предложила, была также помощь пожилым людям. Ну, в общем, навещать их, помогать им и даже дружить с ними.

Когда мама услышала, что я решил «усыновить» какого-нибудь одинокого старика и дважды в неделю составлять ему компанию, она сказала: «А вы что думали?!» И поскольку вы еще не знакомы с моей мамой, я должен вам объяснить, что на самом деле это было сокращение ее излюбленной фразы: «А вы что думали? Вместо того чтобы найти себе товарищey среди сверстников, вместо того чтобы гонять с ними в футбол или заниматься спортом, вместо того, наконец, чтобы оторваться на минутку от своих бесконечных книг и своего дурацкого зайца, — вместо всего этого мой сын конечно же выбирает себе в товарищи, кого вы думаете, — ну, конечно, семидесятилетнего старика! И я абсолютно уверена, что все это он делает исключительно мне назло». Вот что означал, без пропусков и сокращений, ее возглас: «А вы что думали?!» И она была права. Ведь и правда, вместо всей этой длинной обвинительной речи куда экономнее просто сказать: «А вы что думали?!»

Но маме не помогли никакие пропуски и сокращения, потому что я, вместе с еще тремя одноклассниками, все равно оказался в пансионате для пожилых людей, который у нас так и называли: «Дом пенсионеров» — и который находился, как я уже говорил, в иерусалимском квартале Бейт а-Керем.

Тут я хочу сказать еще кое-что.

Я знаю, что есть ребята, которые не любят пожилых людей. Многие говорят, будто от пожилых людей иногда нехорошо пахнет. И потом, у них морщинистые лица. И вообще, они ужасно раздражают, потому что все делают ужасно медленно. На это я могу ответить только одно: да, среди пожилых людей есть и такие, но это просто потому, что за ними никто не смотрит и никто о них не заботится. Это как в грамматике: как назвать человека, за которым не ухаживают? Неухоженный человек. Вот и все. Я не сам это придумал. Я много раз слышал эти слова от самих жильцов Дома пенсионеров, когда разговаривал с ними в ожидании Розенталя. У многих из них прежде были семьи, и друзья, и товарищи по работе. Но стоило им переселиться в Дом пенсионеров, они как будто разом изгладились из всех сердец. Были там такие, которых даже их дети перестали навещать. Я мог бы многое сказать по этому поводу, но сейчас было не то время. Потому что сейчас я уже отчетливо слышал тяжелые шаги по коридору, и им в такт отчаянно стучало мое сердце. И еще я видел из-под кровати, как отчаянно дрожат внутри штанин тоненькие ноги господина Розенталя, и понимал, что он тоже страшно боится, хотя уже примерно раз семь за сегодняшний день успел заверить меня, что дрожит исключительно по причине ужасной и неукротимой злости. Впрочем, за то же время он примерно семнадцать раз повторил, что самый грозный хулиган их медицинского факультета носил ботинки сорок седьмого размера и был чемпионом Гейдельбергского университета по стрельбе из пистолета, а кроме того, поднимал одной рукой двенадцать томов немецкой Медицинской энциклопедии и однажды выбил зубы сразу пяти немецким студентам, потому что те позволили себе обидные шуточки в адрес евреев.

Розенталь рассказал мне не только это. Он припомнил еще несколько столь же героических и столь же леденящих кровь

историй, связанных с грозным гейдельбергским хулиганом, и после каждого такого рассказа он на какое-то время умолкал, тяжело дыша, а его лицо в белом ореоле седых волос ужасно багровело. Однако потом он всякий раз встряхивался, решительно ударял кулаком по ладони и говорил со своим тяжелым немецким акцентом: «Ну пусть он только посмеет прийти сюда! Уж я его научу, как угрожать людям! Как он смел назвать меня вором?! Меня! Этот невоспитанный мужлан! Этот невежда! Меня?! Пусть он только заявится сюда! Уж я вытряхну из него всю его варварскую наглость!» И все в таком же роде. Мне было немного странно слышать все это, потому что Розенталь, как я уже говорил, был маленький и худой, как мальчик. Он, правда, был очень спортивный старик и каждый день плавал в университетском подогреваемом бассейне, а мне говорил, насмехаясь, что я занимаюсь одним-единственным видом спорта — мигаю глазами, когда переворачиваю очередную страницу в книге. Несмотря на все это, я смутно догадывался, что в случае схватки с невеждой, который одной рукой выжимает двенадцать томов немецкой Медицинской энциклопедии, у моего старика нет особенных шансов. Но когда я робко намекнул на это Розенталю, он только нервно хихикнул и, криво улыбнувшись, сказал, что если я так боюсь, то могу немедленно отправиться домой или подождать в коридоре, пока эта схватка закончится, а уж тогда он позовет меня, чтобы вытащить из комнаты повергнутого мужлана или его жалкие останки. Но говорил он это с такой горькой насмешливостью, что мне было совершенно ясно, насколько ему страшно. Поэтому я объявил ему самым категорическим образом, что остаюсь с ним до конца, а там будь что будет.

Он молча подошел ко мне и так же молча пожал мне руку. Я видел, как его губы сжались в белую ниточку. Это у него всегда было признаком сильного волнения. Мы стояли молча. То была одна из тех безмолвных минут, когда из крепкого

мужского рукопожатия рождается мужество, дружба и твердая решимость. Но потом наши ладони расстались, и меня охватил ужасный страх, а у Розенталя тоже немного опустились плечи. Он начал сбивчиво говорить, что не имеет никакого права вмешивать меня в такое скверное дело — кто знает, чем все это кончится. Тем более что речь идет о таком совершенно диком дикаре, как Руди Шварц. Нет, будет лучше, если я уйду. Я же, со своей стороны, сказал, что не о чем говорить, я остаюсь и будь что будет. Потому что, судя по описанию этого дикого дикаря и надлежащим образом вчитываясь в то странное, невнятное и угрожающее письмо, которое этот дикарь прислал Розенталю, было бы гнусным предательством с моей стороны оставить господина Розенталя наедине с этим бандюгой. Не то чтобы я был особенно сильным — скорее, наоборот; но, если я останусь, нас будет по крайней мере двое против одного, и таким манером мы удвоим шанс на то, что хотя бы кто-нибудь один из нас останется в живых и расскажет историю нашей мужественной сватки грядущим поколениям — а точнее, предыдущим, то есть моим папе и маме.

И вот так, подбадривая друг друга, мы в конце концов придумали изощренно-хитроумный план. Я буду ждать под кроватью, пока намерения гейдельбергского хулигана не станут совершенно очевидными. А потом я выскочу из своего укрытия и помогу Розенталю повергнуть дикаря или, по крайней мере, лягну варвара.

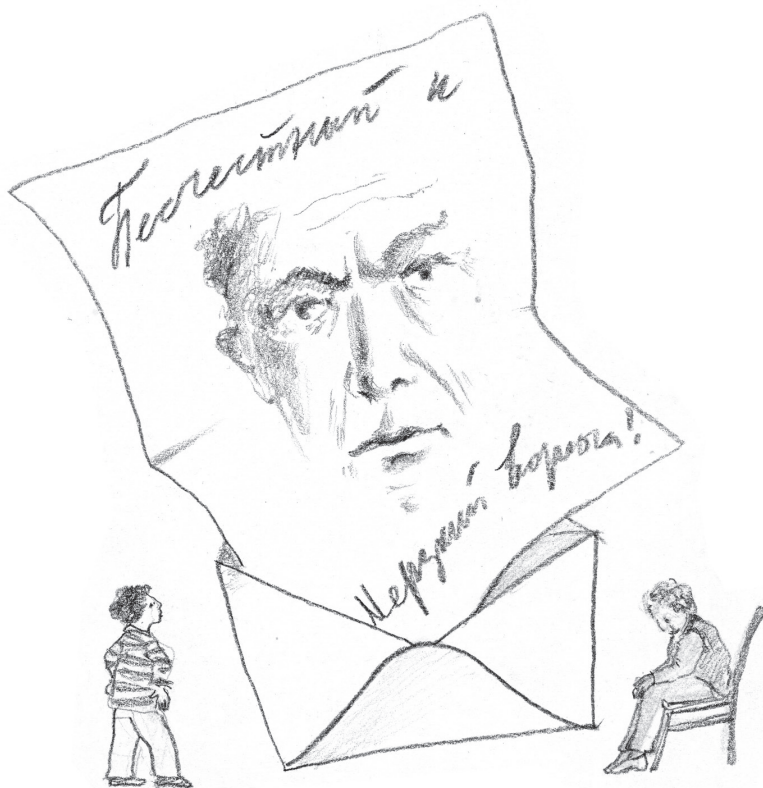
Я говорю «пока намерения не станут очевидными», но на самом деле намерения бандита из Гейдельберга были и без того совершенно очевидны, потому что они уже были самым недвусмысленным образом изложены в том странном письме, которое прибыло этим утром в Дом пенсионеров и было вручено в собственные руки господина Розенталя.

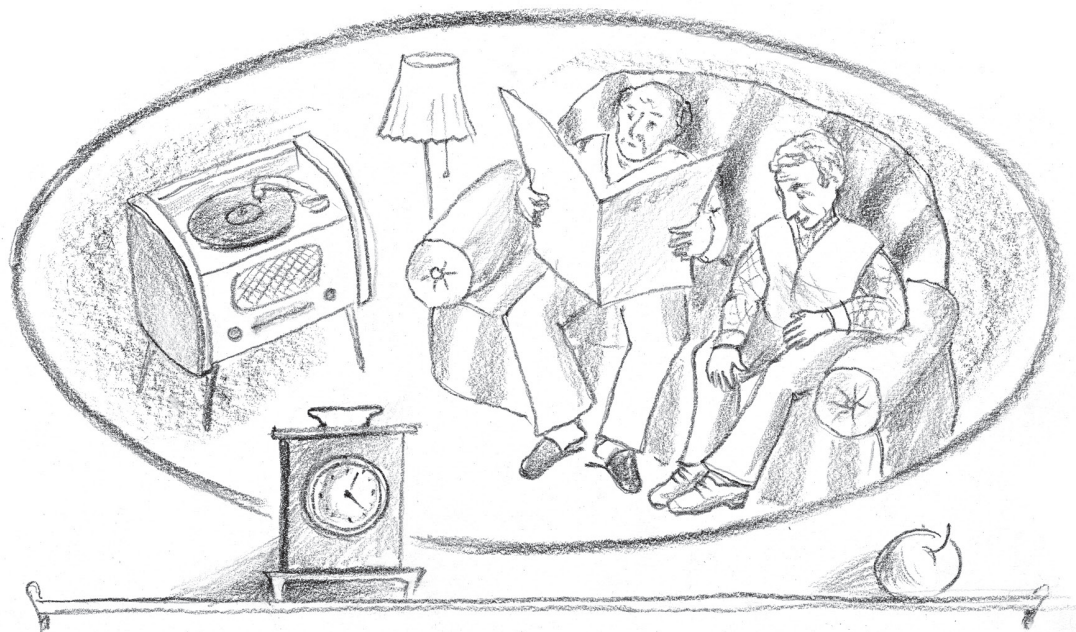
Сейчас это письмо лежало на столе перед нами. А написано в нем было следующее:

Бесстыжий и мерзкий ворюга! Если ты сегодня же до семи вечера не вернешь мне ее рот, я приду забрать его у тебя силой. И я сделаю это любой ценой.

А ниже сбоку было приписано (красными чернилами, которые вызвали у меня неприятные ассоциации):

Честь против смерти! Руди Шварц.





Глава вторая
ВСЕ ЕЩЕ ПОД КРОВАТЬЮ

Подумать только — стоит человеку поменять место, с которого он смотрит на мир, и ему тут же начинают приходить в голову разные необыкновенные мысли. Взять, например, меня. Лежал я вот так, на животе, под кроватью господина Розенталя в Доме пенсионеров, и вдруг мне пришло в голову, что с такого уровня, с пола, мир выглядит довольно-таки страшновато. Обыкновенная корзина для бумаг отсюда казалась огромной, как бочка, а маленький чемодан Розенталя высился, как громадный серый шкаф. Только ноги Розенталя, качавшиеся прямо перед моими глазами, выглядели такими же тонкими и маленькими, как на самом деле. Я подумал, что, наверно, грудные младенцы и даже дети, пока они маленькие, вечно мучаются от страха — ведь им все вокруг кажется

огромным и угрожающим. И еще мне пришло в голову, что, возможно, старики тоже все время боятся мира, потому что для них он слишком быстрый и слишком сложный. Вот, к примеру, мой Розенталь. Хоть он старик, безусловно, современный и энергичный, а все равно говорит, что боится пользоваться лифтами, потому что в его время их еще даже не изобрели. Впрочем, я подозреваю, что это он просто шутит. Ведь всеми другими современными приборами он пользуется без всякого опасения.

Я бы мог еще долго так размышлять. Мама всегда говорит, что, конечно, на свете есть и другие люди, которые ни с того ни с сего погружаются в бесконечные размышления, но я — о, я в них как нырну, так и не могу уже часами выплыть. Тут она иногда, конечно, права, но не в данный момент. В данный момент, под кроватью, у меня были вполне серьезные основания страшиться окружающего мира. И не только по причине моих глубоких философских прозрений, но также в силу другой, не менее существенной причины. Поскольку на часах было семь без одной минуты, а шаги в коридоре только что умолкли, мы с Розенталем, каждый по свою сторону кровати, понимали, что Руди Шварц, этот громала с медицинского факультета Гейдельбергского университета, уже стоит за дверью и наливается яростью, гневом и злобой. А когда бывший чемпион Гейдельбергского университета по стрельбе из пистолета стоит у вас за дверью в обуви сорок седьмого размера и наливается яростью, злобой и гневом, у вас уже есть не одна, а целых две основательных причины для серьезного беспокойства.

Впрочем, пока что до семи оставалась еще целая минута. Я был в этом уверен, потому что мои часы настроены по сигналам радио, а радио в Израиле настроено по часам Розенталя. Во всяком случае, так утверждал директор Дома пенсионеров. Розенталь и его часы были так точны, что этот

директор (его звали Нехемия) включал электрический звонок, по которому старики шли в столовую, только в тот момент, когда видел, что Розенталь уже спускается по лестнице. И поскольку до семи оставалась еще целая минута, а стоявший за дверью великан Шварц тоже был, как и Розенталь, родом из Германии, я пребывал в уверенности, что он будет стоять там точно до семи, потому что именно так он написал в том письме, которое сейчас лежало на маленьком столике. И хотя в этом письме он именовал Розенталя «бесстыжим и мерзким воругой», а в конце даже приписал красными, как кровь, чернилами: «Честь против смерти», — несмотря на все это, орднунг есть орднунг, то есть порядок есть порядок, и поэтому Шварц не войдет в комнату ни одной секундой раньше назначенного срока.

Когда очень боишься, каждая минута кажется вечностью. Или по крайней мере как пять минут. А раз так, я воспользуюсь этим и сделаю коротенький перерыв в описании событий, чтобы объяснить вам наконец подробнее, кто такой господин Розенталь, и кто такой бандит Шварц, и чего, собственно, второй требует от первого.

С Розенталем я познакомился, когда вместе с несколькими одноклассниками вызвался участвовать в кампании «усыновления» школьниками пожилых людей.

В таком месте, как Дом пенсионеров, главная проблема — это одиночество и скука. Поэтому старикам важно, чтобы к ним кто-нибудь приходил. Поначалу мы ходили к ним вчетвером, но кончилось тем, что через три месяца я остался один. Остальные заявили, что у них нет времени и вообще их «опекаемые» слишком многого от них требуют. Но я-то знал, что им просто скучно было часами слушать рассказы своих стариков. Не все же пожилые люди интересно рассказывают. И вообще, в школе нам всегда кажется, что все вокруг происходит с огромной скоростью. Отвлечешься на минутку — все пропустишь.

А «переключить скорости» трудно. Вот и не можешь настроиться на темп стариков — он же куда медленней.

Нет, я, понятно, не обвиняю тех, кто бросил это дело и перестал ходить к своим старикам. Я думаю, на их месте мне тоже было бы тяжело. Моя мама, например, не перестает твердить, что я, по ее мнению, уже с лихвой перевыполнил свое обязательство и пора мне уже поискать себе других товарищей, помоложе, чем дважды тридцать пять. Не то чтобы она была против таблицы умножения, совсем наоборот. И не то чтобы ей, не дай Бог, претило мое добровольчество. Но она не может не видеть, говорит мама, что за всеми этими общественными делами я забываю о себе и своих интересах. И вообще, она не понимает, почему меня так интересуют старики и взрослые и почему у меня почти нет товарищей моего возраста. В этом месте отец обычно тоже присоединялся к нашему с мамой одностороннему обмену мнениями, чтобы рассказать, что, когда он приехал в Страну, ему тоже было двенадцать лет, но он, в отличие от меня, совершенно не знал иврита и по этой причине у него долгое время вообще не было товарищей. И он от этого очень страдал. Мой отец любит рассказывать о своем детстве, и мне почему-то кажется, что он и сейчас, в свои сорок лет, все еще чувствует обиду того мальчика, которым был когда-то.

Я буквально из себя выходил, пытаюсь объяснить им, что я вовсе не страдаю и что мне именно так хорошо. Нет, они, конечно, знали, что я могу быть куда более компанейским. Они же помнили, как я дружил с Элишей до того, как он переехал в Хайфу. Но они никак не могли взять в толк, что и у меня бывает такое время, когда хочется побыть одному. И вообще, мне есть о чем порой подумать, потому что у меня бывает так, что передо мной вдруг возникает ужасно много вопросов касательно меня самого и мира в целом и мне обязательно нужно все их решить.